

## История, традиция и индивидуальные стратегии

Гурко С.

**Аннотация.** В статье рассматриваются методологические проблемы исторического знания, вытекающие из ориентации историков на крупномасштабные явления и отсутствия моделей представления событий, объединяющих микро- и макроисторический уровни. Высказывается предположение о возможной перспективе корпусных исследований в истории, которые могли бы положить в основу исторического исследования статистический анализ историй индивидов, открывая путь для превращения истории из описательной науки в своего рода «статистическую механику индивидов».

**Ключевые слова:** методология истории, вероятность, статистика, корпусные исследования

История — сфера писания почтенная. Всякий назовёт и «отца истории» и сонмы присных его. Но вот незадача: при более внимательном рассмотрении большая часть сочинений, озаглавленных как «История...» оказываются прежде всего *династийными хрониками*. Это, в общем не удивительно, учитывая кто обыкновенно выступал в роли заказчиков таких трудов и о каких лицах и событиях вообще можно было надеяться раздобыть сведения принимавшемуся за свой труд, пусть и с самыми возвышенными намерениями сочинителю.

Историк настаивает на *действительности* событий, вообще говоря уникальных. Всякий год и всякий месяц в нём, и всякий день случаются лишь однажды, и, что бы ни пометил историк этим днём, битву ли, небесное ли знамение, чьё-то рождение или смерть, он своим словом удостоверяет подлинность событий и правильность передачи их череды. Не вина историка, что заказчик часто нетерпелив, ему недосуг подождать несколько веков, пока слой за слоем нарастёт толща следов, свидетельствующая о древности его династии, а значит и несомненности его прав. Всякому хочется возвести свой род хоть к Александру или Цезарю, если не прямо к солнечной богине Амагерасу или просто и скромно — к Небу. Потому продлеваемая в ретроспективу история становится однообразно мифоподобной, на что ещё Плутарх жаловался.

Утверждать действительность череды событий, впрочем, можно, не только отсылая к космической основательности мифа, но и доискиваясь имманентных закономерностей исторического процесса. Здесь естественное место произрастания разного рода построений историософского толка. Это может быть циклический рост и упадок асабийи, обуславливающий социальные пертурбации у Ибн Хальдуна, или постепенная актуализация

понятия «свободы» в процессе саморазвития духа, составляющая суть истории у Гегеля, во всяком случае речь идёт о метафизических конструкциях, постулирующих действие неизменных, и отчего-то явленных автору изначальных принципов. На этом фоне трудолюбивый переписчик, пополняющий старые хроники выглядит практически эмпириком.

Но если история, изначально нацеленная на фиксацию и удостоверение единичного (всё равно с вынесением оценки или без оногo) парадоксальным образом тяготеет к тому, чтобы предстать передатчицей закономерного (историософия), а то и изначального (миф), то нельзя не отметить, что у процесса передачи необходимого и неизменного содержания есть собственное имя — *традиция*. И чем в большей мере от написания этого слова со строчной буквы и допущения у него формы множественного числа (то есть от прагматического признания наличия стереотипных решений, готовых схем, местных блюд, национальных одежд и тому подобного) автор склоняется к тому, чтобы вести речь о Традиции с прописной буквы, которая, разумеется, мыслится единственной, вечной и неизменной, тем больше в тексте будет слов звучных, но неточных, вроде «атлантизма», «гиперборейства» или, попросту «геополитики». При этом у авторов такого толка, вроде Генона или Эволы, мы непременно встретим туманные намёки на существование непресекающейся цепи передачи тайного целостного знания, отголосками, обрывками, случайными или преднамеренными искажениями которого якобы являются знания в привычном нам смысле этого слова. Парадоксальность же традиционализма не только в том, что эмпирические исследователи легко укажут на конкретное, зачастую недавнее время появления той или иной «традиции». Так, согласно кембриджскому исследованию вся богатая семантика «древних» узоров шотландских килтов появилась в XIX веке, а наши историки церкви вспоминают, что митрополит Питирим в 60-е годы XX века был в недоумении, увидев головные платки на приехавших в монастырь на экскурсию преподавательницах какого-то ВУЗа, поскольку считал платок предметом из простонародного гардероба<sup>1</sup>. В богатом информационными связями мире «традиции», претендующей на то, чтобы быть знанием сразу и изначальным и полным, поневоле приходится быть всеядной, ну, или, если выразиться менее грубо — всемирно отзывчивой. Поэтому эклектизм это неизбежное качество «интегрального традиционализма» как в его канонических формах, так и в частных анекдотических проявлениях, вроде образа лидера КПРФ, участвующего в религиозном обряде, проводимом РПЦ. Потому обращение к традиции, вместо размеренного процесса передачи неизменного

---

<sup>1</sup> См. Александр Кравецкий. Изобретая церковную традицию: некоторые особенности церковной практики в XX веке // *Fontes Slavicae Orthodoxae* 2/2018, Wydawnictwo UWM, 2018, С. 46.

содержания превращается в какой-то суетливый процесс предъявления претензий тем, кто не следует новейшим тенденциям традиции. На наших глазах изобретался праздник 4 ноября, которому надлежало быть ноябрьским (по традиции), но перестать быть связанным с Октябрем. Пришлись ко двору поляки, которых будто бы в этот именно день изгнали из Кремля, а Минин с Пожарским всё ещё удачно стоят на своём месте, а к полякам в обыденном сознании кое-какие претензии есть, можно вспомнить хоть термин «белополяки», хоть «чудо на Висле», только с противоположной стороны фронта, а можно читанного в школе Тараса Бульбу. И вот нелепый с точки зрения профессиональных историков, но вполне работоспособный вариант ноябрьского праздника был изготовлен. И живёт себе потихонечку, чем дальше, тем с большим правом нося имя традиционного. И все знают, что по традиции у нас любой праздник заканчивается запуском фейерверков, потому что трудно представить, чтобы когда-либо китайские пороховые заводы не успели приготовить достаточное количество этого громыхающего и столь традиционного товара.

Однако, рассказывает ли нам историк об успешном, либо, напротив, несчастном походе какого-то правителя древности, или возвещает адепт традиции на таинственном языке о циклах забвения и обретения изначальной истины, иллюстрируя свои откровения поучительными примерами из прошлого или современности, во всех описываемых ими исторических анекдотах действуют не одни же только принцы и принципы. Битва ли, дворцовый ли переворот, отправка или прибытие послов, беспорядки и их подавление, неурожай и вызванный им голод, мор и массовые переселения от разного рода невзгод: во всех этих событиях задействованы когда десятки, а когда и десятки тысяч реальных людей. Кто-то должен упорно пытаться вырастить хоть что-то съедобное на неудобье, или уже бросить попытки и уйти искать лучшее место. Кто-то должен идти в бой или бежать и прятаться в чаще. Кому-то надо принять решение: продолжать ли упорствовать в следовании традиционному методу постройки жилища, или попытаться приноровиться к новым условиям и отойти от традиции.

Но даже когда на это обстоятельство обращает внимание, например, Полевой, и берётся писать «историю народа» вместо «истории государей», то исполнить взятое обязательство оказывается непросто, и он то и дело сворачивает на обычную дорогу. В марксистской традиции действующими лицами исторической драмы становятся классы, то есть сущности в некотором смысле ещё менее реальные чем государи и пророки. Гораздо ближе к самой материальной основе времени мира подбирается школа анналов, но и тут до отдельных траекторий индивидов методология не доходит. Когда Конт предлагал свою социологию, он поначалу, вроде бы даже называл её «социальной физикой», но спустя почти двести лет

теперешняя социология если и может быть сопоставима с физикой, то разве что с доньютоновской: то ли со спорами об импетусе, то ли с красивыми, но совершенно умозрительными вихрями Декарта. Единственным родом сочинений, описывающих индивидуальную судьбу остаются биографии. Но за редким исключением сохранившихся в архивах дневников частных лиц, это вновь будут профессиональные жизнеописания выдающихся лиц, в силу жанровой специфики тяготеющие к агиографическим искажениям. Впрочем, не одни только профессиональные сочинители затрудняются помыслить праведность или греховность как функцию а не субстанцию, обнаруживая предвестия будущих подвигов или злодейств во всё более ранней истории героя и даже в предыстории его. Обыденное сознание грешит тем же, вспомним, что значительность биографии систематически порождает легенды о необычном происхождении: и в Ломоносове ищут семя Петра I, и Сталину вместо пьяницы Джугашвили примысливают в отцы хотя бы Пржевальского. Обывателю, как впрочем и идеологически ангажированному историку, так трудно поэтому иметь дело с реальной биографией, содержащей события не допускающие единой этической оценки. Взять, например, генерала Власова. Недавний скандал с диссертацией посвящённой истории вооружённых формирований, неточно именуемых «власовцами», показывает, что даже среди профессиональных историков приверженность к дуалистическому мировоззрению манихейского практически толка достаточно широко распространена.

Если бы программа позитивистов была реалистична, мы и в самом деле получили некое подобие естественнонаучного знания в гуманитарных областях. В том числе и «социальную физику». Или, скажем на современный лад и точнее, *статистическую механику индивидов*. В самом деле, участь отдельной частицы, пусть даже имеющей имя, отчество и фамилию, и не важна, и не доступна исчислению, но событие соударения молекулы по фамилии Петрова со стенкой сосуда мы можем наблюдать в виде интегральной характеристики «давление». Теоретическую же базу, дающую возможность что-то исчислять, составляет представление о распределении вероятностей фазовых состояний отдельных частиц. Вот такое описание и было бы социальной физикой в настоящем смысле слова. Какова вероятность того, что военный служащий победившей армии дезертирует на территории побеждённого противника после заключения мира? А с учётом двадцатипятилетнего срока службы? А с учётом разницы в климате? А с учётом демографических факторов? А с прогнозируемыми социальными преимуществами? Как различается эта вероятность для нижних чинов, для унтер-офицеров, для офицеров? Историки спорят лишь о точном количестве дезертиров 1814 года, но сам факт массового бегства подтверждается и многочисленностью свидетельств, и спешно

принятыми (и возымевшими действие) административными мерами, и объявлением амнистии возвратившимся в течение года в манифесте 30 августа.

Методы социологии, давно освоившей начатки математической статистики в исторической науке применяются. Похоже, двигаясь именно этим путем, история может избежать опасности сближения и с чрезмерной актуальностью идеологически ангажированной политической технологии, требующей ретроспективного производства ситуативных мифов и с чрезмерным эстетизмом разного рода традиционализмов, требующих ради сохранения иллюзии целостности постоянного достраивания некоего якобы изначального мифа. Но характерной особенностью современного знания является то, что зовётся рекламным словосочетанием «Big Data». С тех пор, как появились средства для накопления, обработки и представления в удобной форме по-настоящему больших объёмов данных, добывать неожиданные, а то и прямо немислимые (как например недавняя «фотография тени чёрной дыры») результаты из этого источника принялись самые разные, в том числе и гуманитарные науки. Скажем, для лингвистов эту роль сыграли корпусные исследования: обширный и постоянно пополняемый морфологически и синтаксически обработанный свод разнообразных текстов оказался настоящей пещерой сокровищ, даже люди со стороны, например философы, порой заглядывают туда, чтобы утащить горсть приметных камешков. Представляется, что для истории как науки был бы возможен в качестве основы ещё более специфический корпус — корпус биографий. Самых обычных, разной степени подробности, но содержащий как можно больше единичных жизненных траекторий, приспособленных к статистической обработке, он позволял бы искать ответы на вопросы в привычной современному естествознанию вероятностной форме. Какова вероятность для лица, рождённого там-то, в такие-то годы, в зависимости от социального, имущественного, образовательного, этнического, конфессионального статуса семейства, скажем, получить более высокое образование, или превысить уровень достатка родителей, или стать преступником, или радикально сменить род занятий в сравнении с занятиями семейства, или выбрать место жительства на существенном удалении от места рождения? Ведь все эти микрособытия и составляют физическую ткань истории, которую мы привыкли разглядывать лишь в штуках полотна, лежащих высоко на полках. А мы всякий раз впадаем в недоумение, обнаруживая, к примеру, что событие, позже названное Февральской Революцией сложилось из тысяч и тысяч отдельных человеческих решений, вылившихся к исходу дня в количества, заслуживающие газетных полос или страниц исторических сочинений: сто тысяч взбунтовавшихся солдат это реальность, которая не описывается ни идеализациями вроде «революционной ситуации», ни ситуативными гипотезами вроде предположения о

небывалой эффективности пропаганды. Мы удивляемся, обнаружив, что не только в романе Толстого крестьяне Болконских вдруг обнаруживают странное нежелание убегать от приближающегося врага, поскольку надеются даже на улучшение своего положения при Наполеоне, но и в реальных сводках НКВД 1941 года фиксируются циркулирующие среди крестьян слухи о том, что, дескать, «немцы отменяют колхозы». Фантазии эти, хоть и беспочвенные, могут влиять на индивидуальные жизненные стратегии. И, являясь беспочвенными в смысле необоснованности надежд, они всё же имеют основания в смысле укоренённости в условиях жизни и строе мысли крестьян. В конце-концов землепашцы нужны во всяком государстве. Впрочем, как и служилые люди воинского звания. Вот что пишет Муравьев-Апостол про Леонтия Осиповича Ромейко-Гурко: «Этот самый Гурко в начале войны 1812 г. сказал в обществе офицеров Семеновского полка: — Что до меня касается, мне решительно все равно, будет ли в России царствовать Наполеон I или Александр I.» Дерзкая выходка не имела последствий. За Бородино награжден орденом Святой Анны второй степени. Вышел в отставку в 1821 году в чине генерал-майора. Ничем не примечательная военная карьера дворянина XIX века. Статистически нормальная. Лавров не стяжал, в историю если и попал, то по анекдотическому поводу. Но именно из этих индивидуальных потенциалов и складывается история, как непрерывная череда связанных событий. Которой, будем надеяться ещё представится случай стать «социальной физикой», воспринявшей и математические модели теории самоорганизации динамических систем, и не вполне человекоразмерную реальность, представленную в компьютерном образе «больших данных».

История как наука по определению имеет дело со *свершившимся*. Из-за соображений увлекательности изложения история как текст предпочитает рассказывать о *свершениях*. Из-за научной щепетильности крайне строга к свидетельствам. Но часть из них игнорирует ради риторических принципов связности повествования. То, что «уходит в отвал» как не заслуживающее упоминания, хотя бы и документально подтверждённое, составляет, тем не менее, латентный корпус исторических данных, из которых, на основе другого набора предрассудков можно собрать другой исторический канон. Это не только обеспечивает поле для полемики научных школ, но и даёт место для «новых хронологий» и иных конспирологических построений, а также непрекращающегося карнавала «реконструкторов». Представление о мере научности всего этого многообразия закономерно размывается, и не вовсе уж беспочвенными оказываются идеи некоего министра культуры, полагающего, что историческая наука призвана заниматься производством рекламной продукции по заказу государства. Ну а связь рекламы и пропаганды с мифотворчеством, опирающимся на

склонность сознания использовать миф в качестве интерпретативного, мнемонического и трансляционного средства известна.

Парадокс, однако, в том, что и мышление, и язык, представляя собой борьбу с несоразмерной множественностью мира, осуществляются средствами, сосредоточивающими ту же множественность в концентрированном, взрывоопасном виде. Слово, лишённое многозначности, обособленное от связи с другими словами оказывается вовсе не значащим ничего. В повседневном употреблении слова обыкновенно нарочно обезопасены, подобно нитроглицерину в знаменитом изобретении, обогатившем Нобеля. Но в поэзии и в философии в ходу приёмы, возвращающие словам взрывную мощь. Впрочем, то же происходит и притом весьма непоэтичным образом на стыках близких языков или при столкновениях близких людей. С мыслью дело обстоит таким же образом: приятно было представить себе мир, состоящим из тел, подчиняющихся Ньютоновой механике и сказать, что он расколдован. Пусть кто-нибудь сообщит Лапласу координаты, массу и скорость всех объектов в мире, и тот предскажет будущее. Пари беспроигрышное, проверить достаточно ли быстро и точно считает Лаплас случая не будет, поскольку никто не возьмёт на себя труд доставить все данные. Но само ощущение ясности принципа вероятно было вдохновляющим. Пока в процессе уточнения этой самой ясной картины мира не пришлось принять уточнение: информация распространяется с конечной скоростью, а значит само понятие одновременности, такое естественное, ускользает от нас. То есть из мира отменных механических часов, пусть и слишком сложных, чтобы мы могли их чинить или хотя бы заводить, но по которым можно всё сверять, мы провалились в мир приблизительности и локальности. Какие уж там энциклопедии и толковые словари! Дай бог удержать общее понимание этого слова в эту минуту в этом разговоре.

Упрекать историка в том, что он сосредоточивается на событиях и фигурах крупномасштабных так же странно, как упрекать метеоролога, толкующего о перемещениях атмосферных фронтов и циклонов с антициклонами. Если уговорить метеоролога оторваться от повседневной рутины, он признает, что предмет его изучения — газовая оболочка нашей планеты, многокилометровой толщины, с неоднородным составом, находящаяся в сложной конфигурации внешних полей, пронизываемая потоками высокоэнергетических частиц, да ещё порождающая значительные электрические потенциалы в процессе взаимного движения своих частей — практически недоступна изучению. Все метеостанции, зонды и спутники вместе взятые способны измерять лишь небольшое число параметров в узлах очень разреженной сетки. Разреженной настолько, что объекты, привычные для обыденного взгляда на небо, например какое-нибудь облако, оказываются слишком мелкими и

проскальзывают, как нестоящая рыбёшка. Архаическое мышление, предполагавшее за значимыми погодными явлениями наличие персонифицированной воли и вместе с тем опиравшееся в прогнозах на историю наблюдений, за недостатком технологии обработанных преимущественно качественными методами, уступало современной практике метеорологических прогнозов, но не радикально. Регулярные события, важные для сельского хозяйства или мореплавания, предсказывать удавалось и в древности, внезапные и зачастую имеющие катастрофические последствия — не удаётся предвидеть и сегодня. То, что молнии находятся не в исключительном ведении громовержца, а представляют собой электрический разряд выяснили ещё во второй половине восемнадцатого века, но вот в конце двадцатого осознали, что первичную ионизацию, создающую канал для запуска лавинообразного процесса обеспечивают космические лучи, то есть высокоэнергетические частицы, прилетающие в лучшем случае от Солнца (что возвращает нас к образу громовержца), а в остальных — вообще из запредельных космических далей. То есть речь идёт об открытой системе немислимой сложности, лишь малую часть параметров которой в редких и более-менее удобных точках мы можем измерять, многие эффекты в которой мы вообще лишь недавно обнаружили (спрайты, например), а для иных, хотя и наблюдаем давно, так и не выработали приемлемой теории, как, например для шаровых молний. Модели, которыми мы вынуждены пользоваться для практических нужд, изобилуют допущениями и эмпирическими поправками, которые станут бесполезны, как только эта система, менявшаяся прежде, как свидетельствуют палеонтологические данные, отклонится от состояния, в котором метеорологи ведут систематические наблюдения последние пару сотен лет. Но у учёных нет иного выбора, кроме как уточнять и усложнять модели, исследовать наблюдаемые эффекты, разрабатывать и проверять теории, уплотнять измерительную сеть, наращивать вычислительную мощь систем хранения и обработки данных. И всё равно над прогнозами погоды будут смеяться.

Разумеется, среда, в которой происходят события, составляющие предмет изучения историка не так сложна, как земная атмосфера, по крайней мере в количественном отношении. Участников исторического действия много, но с количеством атомов или субатомных частиц сравнивать не приходится. То же обстоятельство, что человек сам по себе сложен, иногда непредсказуем, а, то и вовсе, как утверждают некоторые, обладает свободой воли, историками, вообще говоря, игнорируется. В самом деле, словосочетание „нашествие Наполеона“ используется не просто метонимически. Речь идёт о том, что герой подобно массивному небесному телу движется, увлекая за собой силой своего притяжения рой тел меньшей массы. Историк, разумеется, помнит имена виднейших военачальников, но



прибавление пары дюжин имён не принципиально изменит эту условную астрономическую картину. Но ведь в деле участвовали сотни тысяч человек. То, что для нужд описания каждый из них лишается имени и становится функциональной единицей, понятно, но странно полагать, что и сама их способность действовать при этом утрачивалась. Ведь это именно их уверенность и сомнение, испуг и отвага, умелость и неловкость, здоровье и недуг, соединяясь давали в качестве результата те отдельные акты, микрособытия, из которых складывалась ткань истории, остатки которой, в скрученном и упакованном виде описываются в историческом сочинении.

Но ещё более печальным представляется то обстоятельство, что естественная расположенность человеческой психики побуждает нас ассоциировать возможность с будущим, а необходимость с прошедшим временем. Даже если мы не склонны повторять нелепое положение будто бы не допускающее сослагательного наклонения применительно к истории (нелепое просто потому, что, исключив возможность выбора для деятелей прошлого, мы никак не сможем сохранить его для настоящего времени, то есть постулируем самый обычный методологически бесполезный фатализм), всё же скорее всего не удержимся от соблазна выстроить цепочку документально подтверждённых предпосылок, ведущих к событию, про которое точно известно, что оно совершилось. То есть, если предстоящей неопределённости мы ещё позволяем оставаться таковой, не относя её к неполноте наших знаний, наличию скрытых параметров, вычислительной сложности и т. д., то о развилках прошлого мы говорим не как о действительных альтернативах, но всегда имея наготове объяснения почему эти альтернативные варианты не реализовались, то есть и не могли реализоваться, а значит, строго говоря, и не оставляли возможности иного выбора. Могли ли земли, населённые людьми, говорившими на различных взаимопонятных диалектах, в том числе тех, на основе которых составилась современный русский язык, быть объединены не Москвой, а соперничавшими с ней властными центрами? Историк убедительно объяснит почему ни Тверь, ни Новгород, ни позже Литва не справились с этой ролью. История предстанет как единственно возможная траектория некоего целого, которое разом и определяется этой траекторией (включающей в том числе и совершенно непредсказуемые воздействия, вроде нашествия татар), и сохраняет неизменной свою идентичность, так что несмотря на смену названий, размеров и форм государственного устройства историк находит возможным писать непрерывную историю именно этой целостности.

Нам свойственна привычка к дискретному образу мира, составленному из обозримого числа элементов, соединённых лишь таким количеством отношений, которые мы в состоянии различить и удержать в памяти и рассуждении, но образ этот регулярно прорывается,

обнаруживая текучесть того, что мы полагали устойчивым, делимость атомарного, зависимость автономного, неустранимость многозначности. Квантовая механика, шокировавшая даже Эйнштейна предложением ввести вероятностное описание в само основание картины мира, только на первый взгляд может оставаться предметом профессиональных забот узкой касты физиков-теоретиков. Когда-то Эпикуру для перехода от атомистических предпосылок к антропологическим выводам понадобился клинамен. Наш современник Пенроуз использует гипотезу о квантово-механической неопределённости на уровне микроструктур в тканях мозга, чтобы объяснить немеханистичность сознания<sup>2</sup>. Можно воспользоваться общей обстановкой интеллектуальной нестабильности и продолжить бунт: почему альтернативы, в том числе и исторические надлежит представлять при помощи эмблематичного витязя на распутье? Что если та самая непредопределённость, которая согласно Бергсону отличает вообще живое (а не только сознательное) от неживого, механического, предстаёт не в виде дискретного набора вариантов, с которым справился бы и автомат (на радость сторонникам гипотезы сильного искусственного интеллекта), но в виде непрерывного спектра возможностей, различная вероятность которых описывается волновой функцией? Тогда череда коллапсов волновых функций даст последовательность выборов и, соответственно, индивидуальную траекторию. Но если в духе рассуждений того же Бергсона считать память не фрагментарным набором следов прошедших событий, но самим прошлым в его целостности<sup>3</sup>, то тогда придётся признать, что память занята не сохранением сбывшегося (да в этом и нет необходимости, ведь то, что осуществилось, воплощено в настоящем, то есть в некотором смысле не утрачено), но сбережением про запас нереализовавшихся альтернатив. Тогда и восприятие и воображение (по крайней мере реактивное) перестают быть привязаны к определённым единичным данным, и снимается разбиравшийся ещё Юмом вопрос о возможности простого представления без соответствующего простого впечатления. Рассуждения о чём-то вроде «матрицы русской истории» в результате начинают казаться неким самооговором. В самом деле, если воображаемое будущее комбинируется из нереализовавшихся версий прошедшего, то для того, чтобы представить себе угрюмое хождение по историческому кругу нужны специальные ещё более угрюмые усилия.

Но тут следует оговориться: у нас нет подходящего языка. Мы в гораздо большей мере натренированы сводить многое к единому, неопределённое к точному, находить за

---

<sup>2</sup> См. Роджер Пенроуз. Новый ум короля: О компьютерах мышлении и законах физики. Глава 9. Реальный мозг и модели мозга. М.: Эдиториал УРСС, 2003, С. 322 и далее.

<sup>3</sup> См. Анри Бергсон. Материя и память. Глава третья. Память и дух. // Анри Бергсон. Собрание сочинений. Т. 1., «Московский клуб», М. 1992, С. 243 и далее.

неуловимым качеством число и меру и подменять непослушное время куда более удобным пространством. Это давний выбор, и мы всегда можем сослаться в оправдание его на успехи нашей технической цивилизации, на транспорт, скажем, или медицину. Но то, что у избранного способа описания есть неустранимые дефекты, также известно давно. Для описания процессов приходится прибегать ко всяческим ухищрениям и всё равно утыкаться в парадоксы. Описать единообразно мир и сознание никак не удаётся. Неопределённость и неоднозначность оказываются неустранимыми даже на изолированном от загрязняющих соприкосновений с реальностью пятачке логики. Но может быть это означает лишь, что гуманитариям ещё предстоит тот шаг, который когда-то проделали физики, для которых элементарная частица «представляет собой» набор уравнений. Это очень далеко от наглядности образа «вещи» и даже от образа «процесса», развивающегося в среде. При этом их теории согласуются с экспериментами, а техника, построенная на основе этих теорий работает. То есть мир не рухнул от того, что перестал состоять из определённых «что», находящихся в понятных «где» или хотя бы из представимых «что», случающихся в измеримые «когда».

Первым приближением к такому новому языку могло бы стать употребление понятия вероятности, хотя бы в статистическом её изводе вместо навязчивого стремления к точности и однозначности. Это лекарство рекомендовали ещё античные скептики, но в современном технологичном мире, располагающем средствами для сбора и обработки огромных массивов данных, оно может стать значительно эффективнее. В самом деле, если вместо того, чтобы требовать от сообщения, чтобы оно «соответствовало действительному положению вещей», а потом, проанализировав это требование как следует, впасть в уныние от перспективы никогда не докопаться до истины, ограничиться скромным пожеланием, чтобы сообщения соответствовали *возможному* положению вещей, можно хотя бы наметить план действий. Мера вероятности сообщаемого может быть различной. Неправдоподобное мы умеем отбраковывать. Правдоподобные сообщения дадут картину — верную с некоторой вероятностью. Появление нового сообщения с узким спектром вероятности вызовет изменение прежде имевшегося пучка интерпретаций. Не более того, но и не менее. Однозначности не появится, но решения всё равно смогут приниматься, например на основе вероятностной логики.

Даже события, происходившие сравнительно недавно, а значит не только неплохо документированные, но и сохраняющие возможность для сбора дополнительной информации, например опроса живых свидетелей, не имеют преимущества перед делами давних времён в том, что касается способности сопротивляться обрастанию множеством

версий, включая фантастические. Достаточно вспомнить любые знаковые события 90-х: множество взрослых соотечественников вероятно с трудом узнают в бойких идеологических описаниях собственные воспоминания. Но ещё интереснее взять в качестве примера любое яркое событие мирового масштаба. В череде его интерпретаций почти наверняка есть конспирологическая теория, а то и несколько таких. Например Лунная гонка 60-х годов XX века имеет в качестве своей тени версию о фальсификации программы полётов на Луну. Целое сообщество энтузиастов (в буквальном смысле этого слова) исследуют фотографии и видеозаписи в поисках доказательств их поддельности. Для нас в данном случае не важно сколь авторитетны были специалисты, пытавшиеся уверить публику, что никакого обмана не было, и сколь маловероятно вообще сохранение тайны, в которую посвящено так много участников. Важно, что сообщения о лунных программах США и СССР были правдоподобны, в то время как сообщения о том, что такие программы в то же время развивают какие-то иные страны едва ли кто-либо даже рассматривал бы всерьёз. Важно также, что, несмотря на значительное правдоподобие, лазейка для сомнения всегда остаётся и хоть и может быть уменьшена, но не вовсе устранена, поскольку мощь конспирологической интерпретации основывается на предположении о злонамеренном искажении информации контрагентом, а потому оставляет за собой право на изобретение сколь угодно большого числа допущений ad hoc. Ещё более важным, однако, для нашего разбора статуса исторических свидетельств представляется то обстоятельство, что Лунная гонка, как следует из заявления Кеннеди, инициировавшего её, хотя была технологической по методам, но цели её были сугубо политические. Он обещал восстановить символическое первенство, утраченное за счёт наглядных успехов СССР в космосе. Луна, не имевшая стратегического значения, была просто высоко поставленной планкой. Лунная программа СССР по отзывам специалистов была реалистичной, но её свернули, когда американцы сообщили об своём успехе. Луна была не нужна, нужен был рекорд. То есть СССР признал поражение в этом соревновании. Иначе говоря, эту связку исторических событий можно непротворечно описать как невоенное соперничество двух сверхдержав, в ходе которого были затрачены колоссальные ресурсы, решено множество технологических проблем, выполнен ряд небывало сложных экспедиций и установлен победитель этого соревнования. А были ли какие-то результаты при этом фальсифицированы той или другой стороной и в какой мере — вопрос второстепенный, который со временем, вероятно, прояснится, но большого значения это иметь не будет. Занятно, что окончательному поражению СССР в холодной войне предшествовал ещё один эпизод гонок в космосе — «Стратегическая оборонная инициатива» Рейгана, серьёзно изнурившая бюджет СССР. И вот про СОИ уже не одни только

конспирологи поговаривают, что это возможно был блеф со стороны стратегического протвника: тогдашние технологии позволяли разве что рисовать эффектные мультфильмы, показывающие, как парящие в космосе лазеры расправляются с вражескими боеголовками.

Представляется, что локально у хорошей научной теории нет никаких преимуществ перед псевдонаучным построением. Ведь удовлетворительное объяснение ограниченного количества фактов найдётся и там и там, а некоторые допущения придётся сделать как науке, так и её самозванной сопернице. Поэтому лучшее средство от всяческих «новых хронологий» — масштабирование. Научная теория не должна ломаться при распространении на бóльшие пространственные или временные отрезки. А вот псевдотеории понадобятся каждый раз новое допущение, чтобы свести концы с концами. Не оттого ли физики так бьются за квантовую гравитацию, что несовместимые физические теории в разных областях мироздания оставляют слишком сильные основания для недоверия?

Но если принять, что разница между приемлемым и неприемлемым знанием данным в вероятностной форме проявляется при масштабировании области применения, то, применительно к проблемам исторического знания, это означает, что покуда масштабной мерой будет человекообразность информации, мы будем иметь дело с такими историческими изложениями, которые вынуждены конкурировать с мифами практически на равных. На наше счастье, мы уже не живём в эпоху, когда гуманитарий был оснащён лишь парой глаз, парой рук и пером. Современная компьютерная среда подобна целой армии библиографов и писцов, о которых прежде нельзя было и мечтать. Но накопление, систематизация и обработка такого количества сведений ставит вопрос об эпистемологическом статусе знания, добытого при помощи машины. Для математиков эта проблема стала актуальной уже достаточно давно: как быть с доказательством теоремы, которое содержит перебор вариантов, непосильный для человека в силу ограниченной продолжительности человеческой жизни, а следовательно не может быть проверено в привычном смысле слова, то есть воспроизведено любым квалифицированным математиком? Вероятно нам несколько поздно тревожиться на этот счёт, ведь наш вид выбрал в качестве пути приспособления к среде метод изменения этой среды довольно давно и немало преуспел в этом за прошедшие десятки тысяч лет. В нашем мире нет ничего естественного. Наша пища и наши социальные установления в равной мере продукт человеческого искусства, а не природы, и даже романтическим призывам вернуться к природе противостоит искусственный навык гуманизма, поскольку, додумав свою мысль до конца радикальный апологет всего природного понимает, что призывает в конечном счёте к истреблению людей. Ну, а коли так, то пожалуй не стоит так уж чураться сотрудничества с «бездушными машинами».

Гуманитарное знание исторично по природе, так что, хотя трансформация знания в сторону адаптации к современному миру с его неопределённостью, математизацией как формой её представления и компьютеризацией, как технологической платформой, позволяющей хотя бы отчасти справляться с первым и вторым, коснётся всей гуманитаристики, ключевым пунктом всё же будет историческая наука. Хотя, как мы знаем, процесс начался с лингвистики. Именно они, возможно из-за давней традиции сотрудничества с математиками и информатики в задачах машинного перевода и им подобных, легче других вошли в новый мир корпусных исследований. И теперь не только для лингвистов, но и для филологов постоянно растущий Корпус русского языка — не просто привычный и очень важный инструмент исторического и статистического анализа, но и особое *представление* языка, не совпадающее с тем, которым располагает человек-исследователь. То есть в каком-то смысле нечеловеческая форма знания о таком явлении, которое мы привыкли считать характеристически человеческим. И они как-то с этим уживаются.

Возвращаясь к началу разговора, к тому что историк традиционно считается специалистом, свидетельствующим о действительности событий прошлого, уточним теперь, что в мире вероятностно представленного знания само понятие действительности должно быть пересмотрено в старом добром скептическом ключе. И разумеется анализ вероятностей в сегодняшнем мире предполагает использование математических моделей, компьютерный расчёт на их основе, корректировку моделей, новый расчёт, и так далее. Массовая культура любит пугать нас страшными призраками цифрового будущего: от «постправды» и «fakenews» до тотальной слежки и антиутопий вроде полностью симулированного мира «Матрицы». И в самом деле, сегодня всякий может воспользоваться программой, которая на основе достаточного количества образцов видеозаписей чьей-либо мимики и образцов аудиозаписей голоса может сгенерировать весьма правдоподобное видео, на котором целевой персонаж будет произносить любой заданный текст. Но это означает только, что фотографии и видеозаписи лишились избранного статуса особенно достоверных документов. Они могут быть неясными, ошибочными и ложными точно также, как это было всегда с письменными или устными свидетельствами. Что никогда не останавливало ни историков, ни детективов. Достаточно упомянуть известный анализ численности татаро-монгольского войска не согласующийся с летописными данными, зато восстанавливающий правдоподобие в отношении прокорма лошадей в лесной полосе Русской равнины. Нам представляется, что перспективы рационального знания не так уж плохи. Чем больше будет областей человеческой деятельности, в том числе и видов научного познания, в которых будет

укореняться упомянутый принцип, сочетающий ориентацию на вероятностный образ знания, математическое его представление и компьютерно-поддерживаемую обработку, тем изощреннее будут способы обмана и больше возможностей для заблуждения, но и тем более будет средств для разоблачения хитростей и исправления ошибок.

## Литература

Бергсон А. Собрание сочинений. Т. 1. М: «Московский клуб», 1992. – 336 с.

Кравецкий А. Изобретая церковную традицию: некоторые особенности церковной практик в XX веке // *Fontes Slavicae Orthodoxae* 2/2018, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2017. с. 35–49.

Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах мышлении и законах физики / Пер. С англ. Общ. ред. В.О. Малышенко – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 384 с.

## Reference

Bergson H. *Sobranie sochinenij* T. 1 [Collected Works V. 1] M: «Moskovskij klub», 1992. – 336 p. (In Russian)

Kravecckij A. *Izobretaya cerkovnuyu tradiciyu: nekotorye osobennosti cerkovnoj praktiki v XX veke* [Inventing Church Tradition: Some Features of Church Practice in The Twentieth Century] // *Fontes Slavicae Orthodoxae* 2/2018, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2017, pp. 35–49. (In Russian)

Penrose R. *Novyj um korolya: O komp'yuterah myshlenii i zakonah fiziki* [The Emperor's New Mind Concerning Computers Minds and The Laws of Physics] Trans. edited by V.O. Malyschenko – M.: Editorial URSS, 2003. – 384 p. (In Russian)

## History, tradition and individual strategies

**Gurko S.**, Institute of philosophy

**Abstract.** The paper discusses the methodological problems of historical knowledge arising from the orientation of historians on large-scale phenomena and the lack of models for representing events that combine micro- and macrohistorical levels. An assumption is made about the possible prospect of corpus studies in history, which could lay a statistical analysis of individual histories as a foundation of a historical research, paving the way for the transformation of history from descriptive science into the so to speak «statistical mechanics of individuals».

**Keywords:** methodology of history, probability, statistics, corpus studies